

Олег Погасий

## Трек

1.

Световое табло «Fasten belts» погасло, и в салоне впереди сразу кто-то уверенно откашлялся. А в хвосте за шторками как будто передвинули тяжёлый шкаф; и что-то задрезало; и что-то упало... Самолёт набрал высоту. Андрей щёлкнул застёжкой и отбросил ремни, которые тут же, будто змеи, утащились в норы. «Потом нащупывать, выдёргивать их из-под себя, как из-под земли», — кисло усмехнулся и достал из накладного кармана брюк-милитари небольшую книжку. Откинул кресло, дожимая спиной до упора. Но почувствовал двоеточие коленей, предупреждающий знак, что мешает, доставляет неудобства. Поелозил по спинке и, опустив плечи, обмяк в кресле. Хотелось стянуть туфли. Рядом никого. Салон полупустой. Но всё-таки не один: качнулся назад — и опять уткнулся в приговор коленей. Вдохнул, выпрямился, положил книжку на кресло рядом, пропустил три пальца под резинку, стягивающую хвостик белёсых волос, и, разжав ладонь, высвободил их. Мотнул головой — волосы приятно пощекотали шею и рассыпались по плечам. Мотнул ещё. Собрал волосы в кулак, натащил на них резинку, оттянул её, перекрутил разок, просунул хвостик. И хлопнул резинкой. Взял книжку, всё же сбросил туфли, отвалился на кресло. «Ну и что же там дальше? Невероятно всё это... Постояльцы „зоны смерти“?!» — с жаром раскрыл, отыскал страницы и с чувством провёл по ним ладонью, да так, что хрустнули косточки у этих так берущих историй.

«Ник протёр покрытое пухом снега стекло циферблата — стрелки часов показывали три тридцать. Видимость была превосходной. Редкие лиловые тучки с огненной каймой держались чуть в стороне. Лунный свет заливал всё вокруг. Полная луна висела совсем рядом. „Чего глядишь? Ударишься о неё, — неуверенно поднял голову Ник. — И неудивительно, — сверил он по альтиметру высоту, — уже за семь тысяч метров“. Снег светился. Тьма искала спасения, уползая в расщелины; роилась, клубилась в пропастях, выглядывая глубоко оттуда из-под своих косматых бровей. На ближних скалах в трещинах блестел зеленоватый лёд, застывший водопад. „И если воткнуть в него альпеншток и резко провести вниз — полетят брызги!“ — мелькнула

у Ника шальная мысль. Но он тут же её отбросил: „Не расслабляться, не расслабляться. Высота нешуточная“. В разрежённом воздухе на всём лежит отпечаток сверхреальности. Кажется, и материя дышит. Почти живая. С ней можно даже по забывчивости и заговорить. „Концентрация на шаге, только на шаге — и ничего постороннего. Всё лишнее — в сторону. Высота нешуточная“, — с ритмом шагов вбивал в себя Ник, поднимаясь из четвертого лагеря в пятый; держась за верёвку, на сто пятьдесят футов закреплённую на маршруте.

Но не прошло и получаса с начала подъёма из лагеря, как он вдруг почувствовал... за ним кто-то идёт. „Не поддаваться, не поддаваться на эти провокации ума и шатания нервной системы, ничего лишнего“, — одёрнул себя, остановился, ступнями выдолбил место на крутом склоне, раздирая „кошками“ лёд. Но к его затылку будто приложили руку. По телу разлилось тепло, но с холодящими душу мурашками. Нику стало не по себе. Он съёжился, втянул шею в плечи, слегка покрутил головой и — резко обернулся. Позади, футах в ста, держась за ту же верёвку, по колени в снегу стояла тёмная фигура. Ник замер. „Не обманулся. Обычно предчувствие лжёт, а здесь — в точку. Как знал! Но что это — или кто?“ — крепче сжал верёвку Ник и ещё раз-другой вонзил „кошки“ в лёд. „Двинулась!.. Двинулся!“ — Ник инстинктивно дёрнулся навстречу. „Нет! Показалось, стоит как вкопанный!“ — подался Ник назад. „А может, кто-то из команды старается меня догнать?“ — ухватился за спасительную мысль, как за верёвку на отвесном склоне. Стал всматриваться: руки, ноги, человек. „Да, похоже — человек; каска, каска с фонариком, фонарик светит. Нет! Это не фонарик, а звезда, одинокая звёздочка в небе“.

Ник крикнул: „Э-э-э-эй!“ — и махнул рукой. Тишина. Вслушался в тишину. Тишина. Глубокая и бесконечная, что будто слышно, как снежинки планируют на комбинезон. Ник повернулся, пристегнул карабин к верёвке и медленно полез дальше. Через несколько минут остановился. Повернулся. Тёмный человек держал дистанцию, не отпустил, увязался следом. Стоял в точности как и раньше, как в остановившемся кадре. „Ну ладно, ладно, посмотрим, что будет дальше“, — отвернулся Ник

и продолжил набирать высоту. Дойдя до громадного камня, вросшего в склон, он опять бросил взгляд назад. Тёмный преследователь сохранял статус-кво. „Приклеился!“ — зажмурился на секунду Ник и нервно покачал головой.

Всё это выглядело очень странным: как будто Ник тащил за собой этого тёмного. Передвигал его вместе с собой. Он идёт — тот идёт. Он стоит — тот стоит. Впрочем, в следующий раз показалось, что «этот» стал ближе... Но когда в очередной раз Ник выдохнул в обжигающий горло воздух с отчаянием: „Ну! Что, что там?!“ — и развернулся — никого не было. Весь склон просматривался хорошо. Серебристая простыня снега, застелившая весь кулуар до лагеря внизу, разделённая наполовину верёвкой, была как на ладони. Ник ощутил блаженную пустоту внутри себя, будто с души свалился камень. Он дёрнул за верёвку. Снежная пыль взметнулась и нырнула в тишину. Тёмный человек исчез. Словно растворился в лунном свете.

Дойдя к шести утра до палатки, Ник первым делом связался по рации с четвёртым лагерем. На его пространственные расспросы ему сообщили, что ни одна живая душа, кроме него, этой ночью и утром не выходила к пятому лагерю. А значит, человек, которого видел Ник, не был из их команды. И что тогда остаётся? Других же команд здесь попросту не было...

Вот что по этому поводу говорит Крис, руководитель британской экспедиции: „Ник находился не так уж высоко, чтобы стать жертвой галлюцинации. У него была хорошая высотная акклиматизация. Кроме того, он отличается аналитическим умом математика. Я полагаю, что произошёл интересный психический феномен: перемещение во времени. Он вдруг стал способен видеть события, произошедшие здесь двумя годами ранее. Тогда шерпа Джанбо работал вместе с Ником, а год спустя на этом же склоне шерпа погиб в лавине, когда поднимался с японскими альпинистами“.

Но у самого Ника на сей счёт несколько иное мнение: если на то уж пошло, отчего бы не предположить, что дух погибшего в лавине шерпы хотел по старой памяти о чём-то попросить или даже предупредить его?»

«Чай, кофе, сок?» — миловидная стюардесса подкатила свою волшебную, опускающую на землю тележку к креслу Андрея и, сделав ямочки на щеках, в ожидании улыбнулась. «Что?» — нахмурился Андрей и поднял на неё отвлечённый взгляд. «Чай, кофе, сок?» — повторила стюардесса и, развернув тележку углом к Андрею, капризно надула верхнюю губку. «Да, да, конечно, кофе, только чёрный — если можно», — спохватился Андрей и отложил книжку в сторону. «Почему же

нельзя?» — стюардесса слегка втянула щёки, придав лицу строгости, и, сняв верхний позвонок чашки с длинного столбика чашек, надетых друг на друга, пустила в неё из блестящего кофейника дымящуюся струю и подала. Андрея поблагодарил кивком и, вдохнув кофейный аромат, сделал глоток. Он всё ещё находился там, на ледяных безжизненных склонах Эвереста, и вместе с Ником пристально всматривался в преследователя, ломая голову в надежде высветить суть происходящего: «Что это? Откуда? И почему?» Пролить хотя бы крупицу света в потёмки души, если таковая имелась у этого субъекта, явившегося ниоткуда и сгинувшего в никуда.

Сделав ещё глоток, поставил пластиковую чашку на выдвинутый столик и уткнулся лбом в стекло иллюминатора. За бортом проплывала ночь. Зарницы сигнальных огней срывались с крыла самолёта. Но земля была тиха, тиха и задумчива. Ночной океан — и крохотные проблески жизни на самом дне.

Андрей ставил себя на место Ника, примерял на себя его шкуру: как бы он да что бы он? — и это были не романтические грозовые облака диванного мечтателя, нет! Он задумал пройти трек к базовому лагерю Эвереста! Один! И вот сейчас летит через Евразийский континент в самое сердце Гималаев. Ему предстоит подняться почти на пять с половиной километров. Миновать стометровые пасти трещин. Пройти узкими тропами по краю бездонных пропастей. Испытать жесточайшие ветра. Пережить кислородное голодание. В непальской путеводной карте этот маршрут заявлен как «extreme trekking». Но большее волнение вызывала в нём мысль о той самой «зоне смерти», откуда и спускаются навстречу альпинистам эти загадочные тени. Это будоражило кровь, от этого перехватывало дыхание.

Потусторонний холодок пробрался за воротник рубашки и скользнул по телу. Андрей невольно дёрнулся, втянул живот, поёжился. Недовольно глянул на панель с кондиционером над собой. «Но во всех этих случаях прослеживаются одни и те же детали; и пришельцы, вышедшие из небытия, все эти схожи, одна и та же пьеса получается, — размышлял он, — но с вариациями от разных авторов». Он бросил крутить сопло кондиционера, отвернул его в сторону и потянулся за книжкой.

«Шерпа Пемба возвращался с вершины Эвереста после успешного восхождения. На высоте восемь тысяч триста метров он решил задержаться на пару минут, чтобы согреться чаем. „Успешно засветло спуститься к Южному седлу“, — бросил шерпа мимолётный взгляд на солнце, похожее на прозрачную льдинку, уже скользящую вниз, и сбросил рюкзак на снег. Из-за недостатка кислорода здесь долго не может находиться ни одно живое существо, и шерпа торопился.

Внизу, в долине, у него семья. Он хорошо заработал, прокладывая путь к вершине клиентам своей фирмы. Шерпа ходит быстро. Раза в три быстрее своих клиентов. У него, как говорят европейцы, и состав крови другой. Его предки пришли сюда с Восточного Тибета, из провинции Кхам, триста лет назад. Но и в Тибете, и здесь, в районе Кхумбу, почти вся их жизнь протекает высоко-высоко, над морем облаков, где в отдалённые деревни грузы приходят с караванами длинношёрстных яков, где прячутся за камнями, карауля добычу, снежные леопарды, где парят в тёмно-тёмно-синем небе коршуны и орлы. И он, Пемба, с молоком матери впитавший этот, как говорят европейцы, „тонкий воздух“ высокогорья, он, кто лишь изредка использует на восьмидесяти тысячах искусственный кислород, в пятый раз поднявшийся на вершину Эвереста, после десяти-пятнадцати шагов по этому мёртвому снегу даже он, шерпа Пемба, вынужден останавливаться, чтобы перевести дыхание.

Он расстегнул рюкзак, вытащил термос, открутил крышку и сделал несколько согревающих глотков. Тепло растеклось по телу, дыхание стало не таким частым и рваным, а сердце уже не выпархивало из-за рта, как птица. Перед тем как продолжить спуск, Пемба ещё раз глянул на солнце... Но так и остался стоять, не в силах сдвинуться. В лучах солнца, как в перьях распущенного павлина хвоста... будто сошедшие с неба, на него надвигались тёмные силуэты! Пемба бросил термос в рюкзак, закрыл глаза и принял их тереть ладонями. „Показалось. Высота. Мозг крутит картинку“, — успокоил себя Пемба и посмотрел снова. Но, к его ужасу, два вытянутых силуэта оказались совсем близко и уже нависали над ним. Он попятился.

Из их глазниц бил яркий жёлтый свет, как будто это были прожекторы. И эти их взоры были направлены на Пембу. Руки были согнуты в локтях. Они будто умоляли Пембу дать им какую-нибудь пищу, поднося кисти рук к дыре на месте рта в тёмном пятне лица. От них шло непрерывное гудение. „Как от роя диких пчёл“, — заторможенно проплыла мысль Пембы... Но вот они уже касаются его. Пембу передёрнуло, он отпрянул назад, но усилием воли остановил себя, сделал шаг вперёд, схватил рюкзак, закинул за спину, зажал уши ладонями и, больше никуда не глядя, только себе под ноги, пошёл вниз.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Пемба настаивал, что это были души погибших во время восхождения на Эверест. Их тела так и остались лежать на склонах горы, а их души до сих пор бродят там».

В салоне впереди натужно закашляли. В хвосте мелькнула рука по локоть, задёргивающая шторки. Андрей отложил книжку и принялся искать

пристяжные ремни. Самолёт начал снижаться. «Нигде нет». Ощупал сиденье под собой, приподнявшись с кресла. Нет. «Запропастились!» — усмехнулся, заглядывая под кресло. «Разматериализовались на высоте!» — возмутился уже вслух и развёл в недоумении руками.

«Ваши?» — кольнул его в спину тихий голос. Он обернулся. Светловолосая девушка с двумя серебряными серьгами в мочке левого уха, улыбаясь, протягивала ему ремни. «Да, должно быть, мои». Встретился с ней взглядом. Какие глаза! Переливаются мягким светом. Как мозаика на солнце! «Я вам не очень-то мешал?» — вспомнив про протест коленей, подавливающих спинку его кресла, спросил Андрей, беря протянутые ему ремни, и смущённо отвёл глаза.

## 2.

«Далбат?» — спросил Андрея хозяин лоджи «Yak and Yeti», переминающийся в дверях на жилистых, в узлах мышц, ногах, в рубашке навыпуск, с рукавами, закатанными по локти, и в длинных, до коленей, шортах. Вылитый боксёр-легковес. «Далбат, далбат», — кивнул Андрей и, сдвинув край стола, встал, громыхнув вилками и ложками, висящими на стойке вниз головой, словно легучие мыши из нержавеющей стали; подошёл к гудящей огнём железной печке в центре комнаты и приложил ладони к тёплой трубе, уходящей в потолок. Синеватый дымок стелился по железу трубы, но Андрей не сторонился. Он сильно продрог.

Последний подъём дался тяжело. Мокрые, скользкие камни, по которым он лез вверх, рискуя поскользнуться, переломать ноги и закончить на том свой трек. Облака, обвалы облаков — и он, как слепой в этой белой тьме, вытянув вперёд руку и слегка присев, напрягая икры ног, продолжающий свой путь. Голая ветка протыкала туман, а испещрённая скала вдруг оказывалась перед глазами, как каменная книга с руническими знаками. Облака поднимало вверх, и начинал хлестать беспощадный дождь, тут же, в мгновение ока, оборачивающийся беспросветной вьюгой, — и Андрей выпадал из настоящего и летел, летел во времени и пространстве: из октября — в декабрь, с азиатских чёрных сырых круч — на заснеженные равнины нашей средней полосы. И где-то тут или где-то там вдруг промелькнули радостные весенние листочки. Он облегчённо вздохнул, когда увидел в разрыве тумана поляну жёлтых цветов и сложенное из плоских камней серое двухэтажное строение.

«Да-а-албат!» — весело вошёл в комнату жилистый хозяин и поставил на стол тарелку с рисом и овощами в соусе. Андрей оторвался от печки, стянул с хвостика резинку, потряхнул давно немывтыми сальными волосами и снова ловко перехватил их резинкой. Подвинул к себе тарелку. Снял со стойки вилку и принялся за далбат.

Надо сказать, что этот далбат можно есть бесконечно, пока не ословеют глаза и рис не полезет из ушей и носа, заплатив всего за одну порцию. Волшебный горшочек. Обычай горцев — давать ночлег и еду путникам. С развитием туристической индустрии это естественное движение души человека перешло в этикет гостеприимства. Этим с охотой не преминули воспользоваться трекаеры и альпинисты, наедааясь впрок, экономя деньги. И никуда не деться. Бренд. Непальцы должны держать марку гостеприимных, не испорченных цивилизацией, наивных и добросердечных аборигенов. «Далбат?» — «Далбат. Горшочек, вари!» — «Далбат?» — «Далбат. Горшочек, вари!»

Удверей на стене висел плакат громадной снежной горы. То был Эверест. По крутым склонам прочерчены красные линии маршрутов с чёрными треугольниками лагерей. Андрей перебрал несколько линий и вычленил британский маршрут. Вот пятый лагерь. А вот и Южное седло под самой вершиной. Выше, на фоне густой синевы неба, фотография шерпы. Портрет в овале. Андрей присмотрелся. Похож, кстати, на хозяина. Хотя для Андрея все они на одно лицо. Сколько раз он терялся, путался, попадал в дурацкое положение, потом корил себя за невнимательность. А шерпы улыбались, говорили, что «нет проблем», и кивали на чью-нибудь спину. Андрей знал, что в Тибете женщин меньше, чем мужчин, и потому у женщины бывает по несколько мужей. А шерпы пришли из Тибета, и им ничто не мешало сохранить эту традицию. Так вот и разбери их, кто есть кто, кто чей — в деревне все родственники.

Перед Андреем вновь вырос хозяин. «Далбат?» — занёс он черпак, полный риса, над тарелкой. Но на третий заход Андрея уже никак не хватало. «Нет, чай, чай, — остановил он хозяина ладонью и, перехватив инициативу, кивнул на фотографию на плакате и спросил: — А это вы?» — «Нет, это Аппа. Семь раз был на Эвересте. Дважды без кислородных баллонов. Сильный шерпа. Я — Дава шерпа, был только на Южном седле, поднимал туда грузы. На вершину не ходил».

Дава сидел у печки, что-то тихо напевал и подбрасывал из корзины в топку сушёный ячий навоз. Андрей допивал второй чайник и поглядывал на Даву. Тот чувствовал на себе косяки взглядов, совсем сузил в щёлочки раскосые глаза, но виду старался не подавать. Мурлыкал свою весёлую песенку и подбрасывал навоз.

Андрей успел заметить, что шерпы при всей своей простоте и дремучести, оказываются, обладают чувством такта, врождённой культурой общения. Они ненавязчивы. Сами в душу не лезут и к себе не подпускают. Умеют держать дистанцию. Никакого панибратства.

Вот позавчера наблюдал такую сцену. Группы шерпов-носильщиков отдыхала, привалив

к каменным скамьям, выложенным в местах отдыха на тропе, свои тяжёлые корзины, с верхом набитые мешками риса. Мимо проходили трекаеры. Один из них, рослый парень, узнав, видно, в шерпе своего хорошего знакомого, окликнул того. Сбросил рюкзак и, раскинув руки, направился к шерпе. Шерпа прыгнул со скамьи и поспешил навстречу. Он обрадовался встрече, но жарких объятий сторонился: отступая под нагиском трекаера, одобрительно кивал, похлопывал того по плечу.

Да и здороваясь, руку жмут они как-то вскользь, будто боясь, что рукопожатием заберут из их ладони нечто ценное. Но в объятьях зелёного змия видеть шерпов доводилось, и не раз. Однажды у буддийской выбеленной ступы, увитой разноцветными флажками, с молитвенными барабанами в нишах, видел качающегося шерпа, того и гляди готового рухнуть; шедшего не как положено — посолонь, а против. Время было после пуджи, и вся деревня, в сопровождении ещё и тощих бездомных собак, крутя барабаны, перебирая длинные чётки и бормоча мантры, наматывала круги вокруг ступы. На пьяного, потерявшего стороны света, никто не обращал внимания. Его будто и не было вовсе. Бедняга всё-таки упал, и никак не получалось у него подняться.

«Хочешь что-то спросить?» — вдруг прорезался голос Давы. «Будто мысли читает», — вздрогнул Андрей и, оставив пустой стакан и немного помявшись, рискнул рассказать пару историй о таинственных духах, вычитанных им из книжки. А затем спросил, не случалось ли с ним подобное, да и что он вообще обо всём этом думает.

Дава внимательно выслушал. Подсел к столу. Вытер руки о край рубахи и, странно улыбаясь, сказал, что с ним ничего такого не было. Он поднимался с южной стороны с кислородом. Но его брат, Норбу шерпа, когда шёл с севера, со стороны Китая, видел этих самых тёмных духов. Они сидели на снегу недалеко от треноги, венчающей вершину горы, и что-то там, как успел он заметить, обсуждали между собой. На него даже не взглянули. Это точно не были альпинисты, рассказывал Норбу. Он остановился, засомневался в реальности того ясного, солнечного дня и даже в своей. . . Но притяжение вершины Эвереста сильнее страха перед духами и даже страха за свою жизнь. А когда Норбу поставил ногу рядом с треногой, никого уже не было. Снег — и никаких следов.

Дава на минуту смолк, а потом, важно подняв указательный палец, добавил: «Когда идёшь с кислородом, то считается на километр-полтора ниже». — «Понятно, что ниже. Но я. . .» — Андрей осёкся и вопросительно посмотрел на Даву. «Что я думаю?.. Наш лама говорит, что у всего мира, — и Дава, закатив глаза, поднял руки и развёл их в стороны, будто желая охватить пространство, — что у всего мира — шесть областей».

Дава опустил руки на стол. Бросил цепкий взгляд на Андрея и стал рассказывать про эти области.

«Наверху живут боги. Они живут долго и купаются в море удовольствий. А в самом низу—место адских мучений; тех, кто туда попадает, ждут страшные пытки. Но это мучения их пробудившей совести. Это их собственное осуждение».

Дава выдвинул ящик стола, вытащил из него небольшое овальное зеркало и повернул к своему лицу. «Вот так, как в зеркале своё отражение, они видят свои гнусные дела, совершённые ими в жизни. В зеркале мудрости. Наш лама так говорит»,—сказал Дава, посмотрел на Андрея и положил зеркало на стол.

«Справа от богов разгуливают титаны, или асуры, опьянённые жадой власти. Они хотят быть первыми всегда и во всём. Они ослеплены борьбой; их мир громаден и невыносимо тяжёл,—Дава кивнул в окно,—как Гималаи. Противостоит им мир животных. Но туда, случается так, попадают и люди—умственно недоразвитые. Тупые и упрямые, как ослы; ленивые и вялые, как панды. Напротив богов—пространство человека. Это где мы с тобой сейчас». Андрей прочитал довольство в лице Давы. «У нас есть свобода выбора; мы способны многое понять, хотя часто впадаем в заблуждение. Мы можем изменить себя. А боги зависли в праздности; они надолго оплатили счета на проживание в заоблачном пятизвёздочном отеле. У них без вариантов. Но у нас много слабостей: мы пойманы в ловушку чувственных удовольствий, погони за деньгами, славой. Мы как альпинисты, взбирающиеся на пик Гордости, который—тут...—и он постучал себя по груди.—И вот под этим миром—область неисполненных желаний. Изнанка неудовлетворённых страстей, нереализованных...—Дава замолчал и сощурил глаз, подыскивая слово.—Амбиций!—выпалил он.—Там шатаются беспокойные духи. Призраки. Преты. Они часто посещают места предыдущих существований. Их тянет туда. Мучимые голодом и жадой, они никогда не могут насытиться. Так вот, я думаю, в этих твоих историях говорится о них...»—«Как их?»—перебил Андрей. «Преты... А кислородное голодание на высоте утончает сознание, обостряется восприятие и даёт альпинистам заглянуть в тот мир».

Дверь приоткрылась, и в комнату вбежал малыш в вязаной шапке, но босиком. Чумазый и сопливый, он держал в руке очищенный банан. Дава посадил мальчика на колени и, покачивая, поцеловал в лоб.

«Сын?»—спросил Андрей. «Да... Три годика... Так вот, лама говорит, что мы везде временные. Всё везде временное. Но проверять даже то, что говорит лама, надо на своей шкуре... Вот он был лха, а стал бу пхо»,—весело сказал Дава и погладил сына по голове.

Андрей поморщился. Что это за «бхы-пхы»? До этого был худо-бедно, но вполне сносный английский.

«Был богом, а стал моим сыном,—Дава растянул рот в улыбке.—Ты помнишь, как был богом?»—крикнул он в ухо сыну.

Андрей с подозрением глянул на Даву: уж не выпивший ли?

«Ему надоело быть богом... Тебе надоело быть богом?»—опять гаркнул Дава в ухо сыну. Мальчик бросил банан и заревел. А Андрей неужевенно спросил: «Это только здесь, в Гималаях, эти преты?... Или они вообще?»—«Не знаю, лама не говорит»,—вставая, ответил Дава; взял своего обиженного, дрыгающего ножками бу пхо на руки и, пожелав спокойной ночи, удалился.

Пора было идти спать, запирается в спальник. Проходя мимо стола, Андрей взял зеркало. Глянул в него. Ну и физия! За время трека губы обветрились, отросла щетина. Щёки запали. Лицо сморщилось, с кулак стало. Похудел и почернел, обожжённый сильным солнцем; а нос шелушится, как молодой картофель. А это что? На белке глаза красное пятнышко... Сосуд лопнул. Высота.

### 3.

Высоко ноги не поднимать, идти плавно, размеренно; никаких резких движений. Это Андрей подсмотрел у шерпов. Как они, с тяжеленными корзинами за спиной, будто миноискателем, подошвами своих сланцев (они лезут иногда в сланцах!) ощупывают каждый камень, прежде чем найти точку опоры.

И спокойно, главное—не гнать мысли дальше двух-трёх шагов. Вот так... вот так—а там вроде как грот в скале, будет где отдохнуть; и дальше...

Сейчас его бьёт озноб. Жар, изводивший ночью, с рассветом оставил его. Улетел, как птица. Он сидит в каменной пещере, вытянув ноги, накинув на плечи какую-то длинную тряпку, закутавшись в неё. Рассматривает разбитые пальцы на ногах, почерневшие ногти. Поднимает глаза и вглядывается в светлую дымку, в расплывчатую даль, развёрнутую перед ним, как мираж. Прислушивается. Звуки, там, внизу, плавают звуки. А он так громадно высоко над этими звуками, что ему иногда кажется: прошли не день с ночью и не годы или столетия, а целая его жизнь. Шемящее чувство утрат мертвит кожу, а острая боль сожаления режет по живому.

Вдруг, словно что-то вспомнив, раскрытой ладонью старается он схватить хвостик своих волос. Но ладонь скользит по голому черепу! У него нет волос! На мгновение охватывает ужас. Но только на мгновение—бурю чувств приглаживает воспоминание, что эта комбинация из заполошного взмаха руки и шока, вызванного отсутствием волос на голове, повторяется каждый вечер. Это

как проклятье. От которого не избавиться. Да-да, уже наступает вечер, а значит, он скоро станет прозрачным или — призрачным. Нечувствительным к холоду. Превратится просто в изображение. Или ещё тоньше — в мысль о себе. Он отдаёт себе отчёт, что всё-таки это, наверное, разный взгляд на себя, такая вот точка отсчёта. Но всё повторяется, идёт по кругу; а докапываться, почему и как, — ему вовсе не до этого.

Он пытается вспомнить своё имя. Шевелит губами. Распухшими губами. Нет, не от горьких слёз, он не рыдал ночью, он жрал камни. Камни своих обид... Он мучительно пытается вспомнить своё имя. На предмет чего оно может быть? Зацепиться за какую-нибудь деталь или за тень выступа её отрицания... Нет, имя рассыпалось, разлетелось. Имя съел космос; который приходит ночами, бывает, и со звёздами.

Сказать, он должен сказать, и как можно быстрее, всё, всё, это важнейшее дело. Пальцы сжимают пластиковую прозрачную папку с синей кнопкой. В папке листы бумаги, исписанные его почерком. Размашистым, но ясным. Ему всерьёз верится в то, что в этих листах прописаны судьбы мира. Может быть так, а может быть и этак. И он спешит, спешит к зданию посреди пустыря. Он верит в свою исключительность. Ветер напирает в спину. Он прижимает папку к груди — не дай бог, порыв вырвет из рук. Здание кажется мёртвым. Чёрные голые окна, ни одной занавески. С трудом раскрывает входную дверь, протискивается внутрь. Идёт. По коридору гуляет ветер, хлопают двери — одна, вторая, как будто кричат ему: «И куда ты?! И к кому ты?!» — но он не обращает внимания.

Нет, не сюда, ему выше. Взбегает по лестнице на второй. Тут тише. Коридор, коридор, двери, двери; шеренга дверей. А, вот, это здесь: видит табличку, ввинченную в дверное полотно. На чёрной бархатной бумаге выдавлены бронзовые буквы. Щурится прочтёт. Никак. Не понимает смысла. Не может из букв сложить слово. Буквы разбегаются или теснятся в какие-то «дктр» «рдкт»: всплывают «трактор» и «птеродактиль»...

Секунду поколебавшись, толкает дверь. Тихий кабинет одет в деревянные мрачные панели с ромбиками в шахматном порядке. Тянет дешёвым папиросным дымом. Но паркет нагёрт. Паркет весел: на нём клин света. От лампы, стоящей на громоздком письменном столе. На лампе колпак, и она похожа на большой светящийся гриб. За столом в лоснящемся пиджаке, чёрном, как свежевзрытая пашня чернозёма... за столом круглолицый человек с вытянутой вперёд рукой и раскрытой ладонью. Папку — ему. Неужели наконец-то попал по адресу? Папка кладётся в ладонь; нет, всовывается... Ну, бери же... Но рука у этого, в чёрном, как неживая. Папка падает. Рука скрипит.

Из рукава вместо запястья показываются мучного цвета шарниры. Протез!.. А глаза?! А глаза — как капли застывшего жира. Да и вообще, перед ним — кукла! Ну и ну! Как же он обманулся! Его охватывают растерянность и злость. Он буравит взглядом эту чёртову куклу — да так, что пиджак трещит по швам; и швы расплываются, лопаются. И по голове будто бритвой: раз — и... И на пол вываливаются внутренности. Индюшачий пух, бронзовый и чёрный. Во рту под губой колкое пёрышко, и, отступая в замешательстве и злобе от выпотрошенной куклы, безуспешно он пытается сплюнуть...

Наступает вечер, и длинная тень, как стрелка часов, прочерчивает пещеру. Он стоит, прислонившись спиной к ледяным камням, накиннув на плечи всё ту же тряпку; кутается в неё и глядится в лучи заходящего солнца, в уплывающую даль. Его охватывает жесточайшая тоска о днях, растаявших в этой предзакатной дымке. Его печаль неизбывна, его надежда мертва. Его ум неприкаян.

Это место притягивало всегда. А он откладывал, доставал из будущего отговорки: «потом», «успею». Но этим вечером решил и нырнул в отвесную темень. Хотя — всему своё время. А он заложник, арестант последовательности событий. Светлое пятно глубоко внизу выросло, выросло и вот — выкатилось снежной поляной.

Он идёт по снегу, идёт, идёт и видит человека, лежащего ничком, раскинувшего в стороны руки, вцепившегося в смёрзшийся снег. На человеке горчичного цвета брюки военного покроя с большими накладными карманами и грязно-серого цвета ветровка. Подходит ближе, склоняется над покрытым ледяной коркой телом. «Живой? Нет? — неуверенно мямлит про себя. — Живой? Нет? — и потом глуховатым голосом вопрошает: — Ты живой, ты живой, отзовись, ну что ты там?» — и сам проглатывает неожиданно для себя тихую, наполненную покоем мысль, простую и очевидную: «Нет, я не живой».

«Я — не живой?» — удивляется своему открытию. Как же это так? Поднимается с колен, отходит в сторону, продолжая смотреть на бугор когда-то живых костей. Как же это так? И тут всё вспоминает. Картины проносятся перед ним. Сколько прошло времени — несколько дней, год, десять? Впрочем, все годы можно сложить, как веер, и сжать в руке. В мгновение.

Вот он засмотрелся — и у него подворачивается ступня, его бросает в сторону, он старается сохранить равновесие, но тяжёлый рюкзак тянет за собой, забирает с собой в пропасть; он взмахивает руками — хватается за воздух... Над ним синее скользкое небо. Блестящее слепое солнце... Над ним тусклая в дымке луна. Бесшумная вязкая ночь... Он переворачивается на живот и пытается ползти, ползти... А дальше разрыв... Чёрный

космос, чёрный без продыху... Набухает и шумно падает в чудовищную пустоту капля, маслянистая, тяжёлая... Бу-уо-ом... Ледяная пещера... Блуждания по видениям прошедших дней...

«Я—не-е жи-иво-ой»,—гулким эхом отзывается тёмное ущелье...

И теперь пространства прошлого для него свернулись пергаментным свитком—и он оказался на свежем снегу настоящего. Видит далёкую красную точку, как на загрунтованном холсте. Ему вспоминается, что будто он видел это и прежде. Но то были смутные видения, плоские образы, как через плёнку. Но сейчас как прорвалось, и ему—что дотянуться рукой; его взгляд летит в сквозящую холодом перспективу, глаза буквально впиваются в предметы, пульсация зрачка сотрясает его до основ, он сильно взволнован.

Медленно-медленно вверх по склону карабкается человек. Это женщина. Он слышит её тяжёлое дыхание. Она поминутно останавливается, растерянно озирается по сторонам. Она потерялась. Сбилась с пути. Сбрасывает с плеч рюкзак, вытаскивает из него фляжку, садится на снег и судорожными глотками пьёт. Из-под капюшона выбивается прядь волос и падает на глаза. Она убирает волосы, прилипшие к мокрому от пота и снега лицу, и пьёт, пьёт... Безвольно роняет флягу из рук на снег, растёгивает красную, как кровь, куртку, пытается глубоко дышать... Наклоняется вперёд—её выворачивает рвота и душит кашель. Ей плохо. Её силы на исходе.

Он перебирает, мусолит в памяти всех, всех, кого когда-либо знал, видел. И кто наполнял его сердце теплом надежды или просто вызывал симпатию. Но это чужой ему человек. Как эта снежинка, по замысловатой траектории пролетающая мимо. Он снова выгребает из памяти и самые незначительные встречи, оставившие в нём хотя бы какой отпечаток. Но эта женщина в яркой куртке—она, без всякого сомнения, посторонняя. Последний образ, который вспыхивает в памяти,—девушка с сияющими глазами и с двумя серебряными серьгами в мочке уха. А с этой никогда, никогда их пути не пересекались. И у него не дёрнется ни один призрачный мускул, не вскипит ни одна капля эфемерной крови, чтобы вытащить её из этих снегов. Ведь он—проекция, копия с того себя, разделявшего там, на земных дорогах, людей на «своих»—и «чужих», на себя—и всех остальных.

Может быть, там и протянул бы руку, но сейчас он... Он как болезненный волдырь самолюбия с желтоватой липкой жидкостью разочарования. Каждый отвечает за себя. Ей отпущено ровно то, что она заслужила. Как и ему. И ему надо спешить в пещеру.

Но на полпути в нём случается переворот. Это как гром с ясного неба. Коллоид его клейких мыслей неожиданно преобразуется в кристалл света, и от него прежнего не остаётся ни даже прозрачного намёка. Он даёт головокружительный разворот и мчит назад. Что послужило тому причиной? Как прервалась безысходность цикла? Вышел срок? Вряд ли, топтаться ему на мёрзлых кручах и топтаться. Инициация сил извне? Да, может быть. Неуверенно скользит он взглядом по небесной сфере, как по ледяному катку... И тут его осеняет: это воздух, воздух, прорвы воздуха!.. И его богатое воображение. Сработало! Сдетонировало! Взорвало и разнесло в клочья кишки его мозговых извилин, набитые всяким вздором.

Во-первых, воздух дал ему новое имя. Не звуки звонкие и глухие, долгие и краткие, сложенные в слоги, а—ритм. Ритм нового имени: вдох—выдох, вдох—выдох, вдох—выдох! И океан воздуха; океаны воздуха! Он вдруг увидел, увидел и осознал бесконечное пространство жизни. Что все мы слеплены из воздуха—всего лишь. И нет ни одной черты разделяющей. Всё едино, всё взаимосвязано. А все имена—это только дыхание жизни.

И он увидел, что у всех-всех женщин и девушек сияющие глаза; у всех-всех женщин и девушек по две серьги в мочке левого уха. Может кому-то показаться, что это такой вот перекрут ума, блажь; но можно и поверить, что это приближение к истине.

Его далеко занесло в сторону сильным потоком таких новых открытий. И бурные, грохочущие реки теперь стелились плавным течением; а в зелёных озёрах то там, то здесь, сверкая, выныривала рыба. Влажный тропический воздух пьянил, кружил голову.

«Э-э, мне правее»,—спохватывается он и, делая крутой вираж, несётся к белоснежным вершинам. Он спасёт её, покажет верный путь, вытащит из этих снегов. Он будет маячить перед её глазами... Он прирастёт там своими условными ногами и будет стоять до посинения... Только бы она увидела его.